У ТРЁХ ВОКЗАЛОВ

Он привязался к нам у площади трёх вокзалов.

– Братиш, братиш, отсыпь мелочи, сколько не жалко.

Я ждал родственников жены. Поезд опаздывал на два часа. Была ранняя весна, повсюду ручьи, грязь. У меня штанины сзади в мелкую грязную крапинку, и это бесит неимоверно. Я чистюля и ненавижу это время. Что весна, что осень, как аккуратно не ходи, а чистым не бывать. Настроение паршивое, будто у меня не только на штанах грязь, а везде, будто я с ног до головы одна извалянная в грязи фигура.

– Братиш, на пивко. Сколько не жалко. Трясёт всего, – пристал он.

Шапка-петушок, серо-седая борода, женская шуба искусственного меха под леопарда. Бомж не бомж, но ещё чуть сдвинется вниз, и готовый обитатель дна. Когда он на секунду повернулся ко мне спиной, я мельком взглянул на его штанины сзади. Чистые! Как он умудряется ходить, чтобы не забрызгаться? Я сколько лет живу, а так и не научился.

– Брати-иш…

– Отстань, – ответил я, не скрывая раздражения.

Вокруг шли, торопились пассажиры. Я с супругой были едва ли не единственными, кто не спешил, поэтому он и выбрал нас в качестве жертв.

– Трубы… До зарезу…

Я скривился.

– Пятьдесят рублей… На пиво…

Я не ответил. Жена с интересом следила за мной и бородачом в леопардовой шубе. Она у меня та ещё язва, наблюдать за конфликтами – её радость.

– Хочешь, спою? – неожиданно спросил он. – Я в народном хоре пел.

И он затянул:

Вдоль по Питерской,

По Тверской-Ямской

Да с колокольчиком…

Голос его, неожиданно сильный и тонкий, дрожал, бился в вечерних сумерках.

– Я солистом в народном хоре был. Мы даже на гастроли ездили.   
В Луховицкий район, Серебряные пруды…

Я не собирался отвечать, но московская неряшливая весна, опоздание поезда, язвительный взгляд жены…

– Ты же фальшивишь безбожно. И вообще это песня не для тенора. Для баса, баритона. Но не для тенора…

– Где фальшивлю? – внезапно горячо подался он ко мне. – Никогда не фальшивил. Никогда! Я солистом был…

Я опять не желал отвечать ему.

– Ни в единой ноте не сфальшивил.

Я молчал, комкал в кармане картонную использованную карточку метро, которую позабыл выбросить.

– Меня Володихин слушал, сказал: «Что за певец!» Вот! Ты знаешь, кто такой Володихин?

Я отвернулся.

Не дождавшись ответа, он обошёл меня, чтобы снова очутиться перед моим лицом.

– Вот, не знаешь! А он сказал: «Что за певец!», заслуженный работник культуры. С медалью ходил.

– Лажаешь ты. Ну лажаешь, – снова не выдержал я.

– Э, нет. Ладно, у меня семьи не осталось, не сегодня-завтра с квартиры сгонят, но тут ты меня не обманешь. Что моё, то моё.

Над городом Горьким,

Где ясные зорьки,

В рабочем посёлке

Девчонка живёт.

– И что? Опять фальшивишь.

– Постой-постой! – борода его затряслась. – Знаю, могу где-то слова забыть, мелодию могу спутать, но не сфальшивлю. Это нет!

Он разволновался.

– Девушка, милая красавица, хоть вы скажите ему. Ведь не фальшивлю же я. Каждая нотка как хрусталь.

Супруга загадочно молчала и смотрела на меня с еле заметной усмешкой, чуть искривившей линию её красивых узких губ.

– Чудило, ты вообще не певец, – сказал я ему. – Кто тебе сказал, что ты петь умеешь? Володихин с медалькой? Так, может, то не медалька была, а значок ГТО? Может, он в музыке разбирается, как свинья в ананасах, а?

– Э-э, хватит, – с испугом поднял он перед собой руки. – Не смей.   
Я пять лет в народном хоре, у нас при ДК. Мы в Луховицах, в Серебряных прудах…

– Да что ты заладил? Лохи из Луховиц любое мычание схавают. «Есть в России три столицы: Москва, Питер, Луховицы».

– Нет, братиш… Что я, сам не слышу, по-твоему? Слышу я. И голос у меня ещё в силе.

Над городом Горьким…

– Я когда пою, наши плачут.

Захотелось сказать, что плачут от жалости или от водки, но я смолчал, комкая проездной в кармане.

– Стой. Я же вправду хорошо пою. Зачем ты?

Он протянул руку, желая тронуть застёжку молнии на моей куртке. Я отпрянул, он опустил ладонь.

– Ты сознайся, что пошутил, – просительно посмотрел он на меня. – Деньги ладно. Не хочешь, не давай. Но про голос мой плохо не говори, ладно?

Я почувствовал, как меня переполняет раздражение и, кинув яростный взгляд на супругу, вытащил из кармана тысячу, показал ему.

– Смотри, дядя. Тебе отдам. Только крикни сейчас своим «прекрасным» голосом на всю площадь: «Я лажок, и голос у меня противный». А? Бам! Крикнешь и тысяча твоя. Окей?

Тот улыбнулся, подался от меня, примирительно водя перед собой открытыми ладонями.

– Нет. Зачем ты? Нет.

– Что не так?

– Это ж неправда.

– Правда. Да и разве это важно? Просто крикнешь, и всё.

– Ну что ты за человек такой? Не стану я.

Жена, писательница и вполне успешная, смотрела на нас с интересом, с каким энтомолог мог бы наблюдать за поединком двух жуков.

Я музыкант, но моя музыка не приносит денег. Играю по кабакам, но редко, репертуар специфический, платят мало. Почти все деньги, что есть у нас в доме, заработаны ею. И даже эта тысяча, которой я трясу перед серо-седой бородой «солиста народного хора», тоже принадлежит ей.

«Наконец-то ты нашёл себе достойного соперника», – читаю я в её глазах, и от выплеснувшегося адреналина ненависти и отвращения к себе меня начинает потряхивать.

– Что? Что? – наступаю я на мужика. – Кричи!

– Зачем я на себя наговаривать буду? – упрямится тот и в голосе его проступает просительная мягкость. – Если я что умею, то умею. Чужого не надо, своего не отдам.

– А тебя и не просят ничего отдавать. Это я тебе отдам. А ты просто крикни: «Я лажок, и голос у меня противный».

– Это неправда.

– Правда, дружок. И голос противный, и фальшивишь через ноту.

– Врёшь.

– Не имею такой привычки. Просто пропил ты всё, если что и было у тебя раньше. И теперь голоса не осталось, интонировать не можешь.

– Неправда. Зачем ты? Я же слышу… – не сдавался он, но в голосе его проступало отчаяние. – Потерял много, но что моё, то моё…

Он отступал, я надвигался, и я уже был уверен, что сейчас он отвернётся и уйдёт, как он сделал шаг мне навстречу, сделал движение левой рукой, словно соглашаясь взять деньги, а правой вытащил из рукава небольшой, похожий на пику, нож и приставил его к моему бедру.

– Только дёрнись, пропорю артерию в ляжке, и ты через минуту кровью изойдёшь, никто спасти не успеет, – сказал он. – А теперь давай, признавайся, что хорошо я пою, – произнёс он, вдавливая остриё мне в бедро.

– Плохо поёшь, лажаешь, – выдержав паузу, сказал я.

– Ну, не ври! – прикрикнул он.

Жена, чуть склонив голову, наблюдала за нами и, по-моему, не видела ножа.

– Плохо поёшь, – деревянным голосом произнёс я.

Он вдавил остриё.

– Зачем врёшь? Откажись от своих слов, – горячим шёпотом сказал он, всматриваясь в моё лицо.

У него были тёмные ореховые глаза и кустистые брови, придавленные шапкой-петушком.

– Ну! – снова надавил он, но, вроде бы так, чтобы не проткнуть кожу.

Он поднял свободную руку, намереваясь забрать купюру, которую я всё ещё держал в воздухе. Я смял её, спрятал в ладони.

– Дай, – приказал он.

– Не заработал, – ответил я.

Со стороны мы, наверное, были похожи на двух беседующих лицом к лицу друзей.

Я кинул быстрый взгляд по округе. Полиции видно не было. Сновали пассажиры, смотрела на нас с интересом жена.

«Убьёт ведь, и правда кровью истеку», – подумал я.

Он отпрянул от меня, неуловимым движением спрятал нож в рукаве, как не было, и направился прочь. Полы леопардовой шубы его нелепо мотались при ходьбе.

У меня подломились ноги, я сел на корточки и, увидев направляющуюся ко мне жену, неуклюже сделал вид, что пытаюсь отряхнуть штанины от грязных точек.